Яр

Автор:
Сергей Есенин

Яр

Сергей Александрович Есенин

«По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу. Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла. Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, разрывая снег, побежали к межам. По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши…»

Сергей Есенин

Яр

Повесть

Часть первая

Глава первая

По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, разрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

– Волки, – качнулась высокая тень в подлунье.

– Да, – с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона…

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.

На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.

– Кабы не лес крали, – ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.

– Кто едет? – процедил его охрипший голос.

– Овсянники, – кратко ответили за возами.

– То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

– В чапыжнике, – глухо крякнул он, догоняя сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

– Идут, – позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

– Эй, Фанас, – дернул его Филипп за казинетовую поддевку. – Волки пришли на свадьбу.

– Никакой свадьбы не будет, – забурукал Ваньчок. – Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувшись, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

– Волки, говорю, на яру.

– Ась? – заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

– Чукан, Чукан! – крикнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хрястнули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил», – мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки», – заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

– Откулева?

– С Чухлинки.

– Далеконько забрел.

– Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал сужеными глазками.

– Я ведь гнал-то.

– Ты?

– Я…

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

– Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

– Скидывай кожух-то?

– Я хотел тебе сказать – не замай.

– А что?

– Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

– Так ты, значит, беги за салазками.

– Сейчас сбегаю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.

– А как тебя зовут-то?

– Карев, – тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

– Блюешь?..

– Брр… – задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. – Похмели меня…

– Вставай… проветришься…

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

– Медведя убили…

– Самдели?

– Без смеха.

Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

– Ты идешь?

– Иду…

– И я пойду.

Подковылял к полатям и вытащил свою шубу.

– Пойдем… подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль.

– Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.

– Ух какой! – протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст. – Ну и лопатки!

– Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, – заговорил Филипп, – да угости пришляка тепленьким.

– А есть разве?

– Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.

– Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

– Волков я тоже думаю взвалить.

– А где они?

– Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

– Пугаются, – крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученый тяж повернулся концом под грядку.

– Эй, вставай, – крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

– Не встану, – кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

Глава вторая

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружко.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

– Чи-их! – фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

– К твоей милости, – низко свесился дружко.

– Зубок привез?

– Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

– Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

– Расколешь! – заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.

– Небось, – выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

– Смачная! – лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу: – Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

– На колымагу! – замахал рукою дружко. – Выходит сейчас.

– На колымагу так на колымагу, – крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно.

– Есть, – щелкнул дьячок под салазки.

– Опосля, опосля, – зашептал дружко.

– Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обрызганным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

– Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.

– Ишь ты какой сурьезный, – говорил шепелявя дьякон, – в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

– Ты больно широко раздвинулся, – заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

– Эй, матушка! – крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. – Н-но, дьявол! – рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

– А ты, пожалуй, нарочно уселся так, – обернулся поп опять к дьякону, – грязь-то вся мне в лицо норовит.

– Это, батюшка, Бог шельму карает, – огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

– Тпру, тпру! – кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

– Не тпрукай, дурак, когда лошади стали, – искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста – с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

– Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился – как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около налоя краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налепок.

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником.

– Женится – переменится, – говорил Анисиму уважительный кум. – Я сам такой смолоду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.

До замужества Анна спуталась со своим работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.

Анна с батраком ходила в ригу и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

– Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим, – говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях…

Вечером на Масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к нему в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

– Пойдем, – покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом…

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

– Ничего, Степан, не бойся, – подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок, – ты парень хороший…

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

– Я ничего, Степан… стариков только опасайся… ты, может быть, думаешь – я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощеный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

– Ничего, – говорил он спокойно и ласково. – Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

– Благословите меня, – сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

– К страстной вертайся, – сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

– Ну, прощай, Анна! – проговорил тихо и кротко. – Не обижай стариков. – Немного задумался и гладил ее щеку. – Совсем я…

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

– Костя! – гаркнула она. – Вернись!

– Ись… – ответило в стихшем ветре эхо.

Глава третья

– Очухайся! – кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.

– Снегом его, – тихо сказал Карев.

– И то снегом…

Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

– Пи-ить…

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

– С перепою, – тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.

– Пей, – поднес он стакан Кареву. – Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, – почесался Филипп и вышел в теплушку.

– Липа? Лип?.. – загукал его сиповатый голос. – Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

– Убью, – усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

– Не боюсь, – тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

– Тетенька ушла, – сказал он ей, как они пришли из церкви. – Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

– Отчего он не тает? – спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

– Лучше я повешусь на ветках березы, – говорила она, – чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого. Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

– Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

– А я возьму тебя и съем, – шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давал искаться.

– Пусти ты, – отпихивал он ее руки.

– Ложись, ложись, – тянула она его к себе. – Я расскажу тебе сказку.

– Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? – пришлепывая губами, выговаривал Юшка. – Расскажи мне ее… мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

– Готов, – сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

– Славная штука, – ухмыльнулся Филипп, – рублев двести смоем… Чтой-то я тебя, братец, не знаю, – обернулся он к Кареву: – Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

– Я пришляк, у просфирни проживаю.

– Пономарь, что ли, какой?

– Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

– Зарит… – поднял блюдце Карев. – Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

– Ишь наклюкался, – рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. – Гусь жареный, тоже свататься приехал!

– Ох, – застонал Ваньчок и откинул полу.

– Кто там? – отворил дверь Филипп.

– Свои, – забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

– Есть дичь-то? – затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

– Есть.

– А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

– Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

– Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

– Ну, так, значит, Филюшка, двести с четвертью да за волка четверть.

– Коли не обманываешь – ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

– Получай, – слюнявя пальцы, отсчитывал он.

– Счастлив, брат, ты, – ткнул в бок Филипп Карева, – и скупщик, как нарочно, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

– Так ты помоги, – скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

– Ишь какой здоровый! – смеялись скупщики.

– Мерина своротит, – щелкнул кушаком Филипп. – Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

– Он убил-то?

– Он…

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

– Н-но! – крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, затемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.

– Не надуешь проклятого.

– Хитрой мужик, – подхватили скупщики и задергали башлыками.

– Дели, – выбросил Филипп на стол деньги.

– Сам дели.

– Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

– Кто это? – мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

– Всю память заспал, – ухмыльнулся Филипп.

– Нет, самдели?

– Забыл, каналья?

– Эй, дядя, – поднялся Карев, – аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

– Смеетесь, – поднес к губам корец.

– А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.

– Тебе полтораста, а мне сто, – встал Карев и протянул руку.

– Как же так?

– Так… я один… А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.

– Ай и скупщики были?..

– Были.

– Вон оно что…

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.

– Погоди, – останавливал Филипп, – выспишься.

– Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

– Заходи! – крикнула она, махая платком.

– Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рука, обвивала одинокие разбросанные липы.

– Садись, касатик, подвезу! – крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

– И то думаю.

– Знамо, лучше… Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

– Что ж пустой-то?

– Продал.

– Ишь Бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

– Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

– Раменки! – крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

– Подбирай, бабушка! – крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забил крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала закрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

– Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

– Экай ты какой! – крикнула укоризненно баба. – Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

– Закуривай, – оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.

Глава четвертая

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл в округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотые деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

– Фюи, фюи, – шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

– Ух, ух, – лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

– Придут, – говорил он, гладя мухортую собаку. – Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза – шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

– Мотри, Богу молись, – наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

– И далеко будем ехать-то? – спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

– Две ночи спать будешь, – ухмыльнулся он, – а на половину третьей приедем…

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

– Заблудишься, – ворчал Афонька, – не броди далеко.

– Я, дяденька, не боюсь теперь, – смышленно качал желтой курчавой головой Кузька. – Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

– Ишь какой догадливый, – смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь…

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок… Облаком заклубился дым.

– Где он, где он? – крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги…

– Вот он, вот он! – кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

– Лови, лови! – кричал Афонька. – Эх ты, сопляк, – протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам. – Гони в кусты! – кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною.

– Погоди, – сказал Афонька, – я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» – забулькало над головами лилий.

– Кши, дьявол! – гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

– Не нарвись! – крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь, висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

– Тех, тех, тех, – щелкал в березняке соловей.

– Тинь, тинь, тинь, – откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой мшанину выбежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» – мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным смехом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом; на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельницу.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали – он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкою около жернова.

Крепко задумался он – не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.

Он обвязался, как путом, кругом этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

– Здорово, дедунь! – крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

– Здорово, – кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу, – нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

– Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим.

Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

– Останься, – грустно поникнул он головою. – Один я…

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

– Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, – толковал он с Каревым. – Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать, – вынул он пачку бумаг, – ты как Кузька стал мне… словно век я тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки.

– Не гляди, что мы ковылем пахнем, – грустно усмехнулся он, – мы всю жисть, как вино, тянули…

– Что ж, захмелел?..

– Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью… лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

– Чтоб те пусто взяло! – выругался сотский, спуская осторожно мешок. – Немудрено и брыкнуться…

– Крута лестница-то, крута… – зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. – Обвалилась намедни плоская-то, новую заказал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/sergey-esenin/yar

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить